

уделяющих внимание не расписанию поездов и не перечню названий, а конкретной местности; конечно, мои „Кавказские впечатления“ не претендуют на многое; они появились, как оформление личной, дневниковой записи для себя и нескольких друзей; книга явилась *post factum*’ом; если бы я знал, что записи мои увидят свет, я не так бы записывал; и не там бы проехал. Мой маршрут: Москва — Батум — Тифлис — Военно-Грузинская дорога — Волга; это один из маршрутов, рекомендованных для экскурсий; поэтому даже случайные записи о местах, которыми проезжают многие, могут оказаться небесполезными, во-первых, как тип книги, к которому протягивается рука туриста, во-вторых, как попытка зарисовать художественно мимо мелькающие места и тем возбудить первый интерес к краеведению; наконец, просто как книга легкодорожного чтения (хорошем смысле слова — книга для отдыха); отсюда оправданы и все случайности дневникового стиля; чтобы не придавать книге искусственности, я положил в основу ее свой личный дневник, прием, оправданный и прошлым и настоящим (Пильник и др.).

„Кавказские впечатления“ не претендуют на многое; но в их непретенциозности, откровенной, может быть, и оправдание, как книги для отдыха.

Андрей Белый.

Курчато, 28 февраля 1928 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

БАТУМСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.

Цихис-Дзирц. Апреля 13-го.

Нет, — каков перескок: в красках, в жизни сознания, во всех устремлениях. Передо мной еще кучинский стол; на нем горка из книг: вот и лекции Иоффе, Томсон, мир корпускул, система атомных весов Менделеева и ряд попыток увидеть таблицу его на спирали; мысль старая (в бытность студентом — тому назад 25 лет — передумывал я) получила-таки подтверждение: в теориях Бора; передо мной спираль Бора и ряд моих собственных схем: — ряд спиралей; весь март ломал голову над примиреньем меж „экстра“ и „интра“ атомною схемой механик; согласовать мир Лоренца, Максвелла с моделью, показанной Бором. Мне кажется, — что-то нащупал я тут (для себя — разумеется); странно: в Батуме — остатки еще моих кучинских студий; прыжки электронов от орбиты (номер такой-то) на орбиту (номер такой-то) в сознание живут вспышкой спектров.

Кругом: какой спектр!

Я и друг — на веранде; из зелени, бирюзоватистое, точно озеро, гладкое, точно сам воздух, сквозное — прозрачней море; а сбоку развалины дряхнут картинно в плюще, времен Юстиниана, выглядывая из-за кучки разлапистых пальм; справа бросились в море — далеко, глубоко —

чуть матово, тронутые желтизной, облачка — неподвижные, белые: цепи Кавказа; над виллою — снег, не сбежавший с рогов голубых, отовсюду приподнятых легких Аджарских утесов; опустишься к морю, — и видишь: лиловые, желтые белесоватости слабо означенных гор, иль — расцвет бледных линий в изнеженном воздухе; то — Анатолия.

Турция смотрит и ночью и днем в Цихис-Дзири.

Каков переход: от еще не сбежавшего снега — к раскоченным пальмам, от сосен — к орнаменту камушков; от нашей кепки к замотанным в тряпки, от этого странно рогатым, каким-то коричневолицым аджарцам, пасущим под нами расчесанных буйволов; где рой атомных теорий? Гляжу на рой мошек — в блаженном безделье.

Переутомляюсь я в год раза три.

Нет, — не верится: тот вот зеленый и в рост человеческий куст, набухающий медленно, есть голубая гортензия; всюду цветет рододендр; а бескорые мощи стволов эвкалиптов — пугают размером: они — необхватны.

Четыре дня мчались на юг; перед Тулою — выбежали из-под снега; открылись липкие земли; над ними — промозглый парок; кое-где снеголепины — с Тулы до Харькова; с Харькова — всюду бесснежная плешь; на ней — солнечный прояснь; ухмурилось, край показавши, Азовское море; Ростов стал окуривать гарью: стоял желтый чад; и гудел хриплый гвалт; ранним утром увидел верблюда; и — два снежных конуса: то Эльбрус; отлетели назад Минеральные воды, Прохладная; выгибы Северного Дагестана уже насинесли из дали: угрюмы и тягостны в хмари вечерней, грозили снегами на нас, а под окнами весело вспыхнули: белые вишни; через цветущую ветку, чуть розовую, мне запомнился синий прощел дымом злого ущелья, меж двух подошедших гигантов; и — грустью повесало; ведь недалеко отсюда Ведень; перстах в ста, по восточней, — Гуниб: два

аула, с которыми в памяти связаны боины; нет, „Пленник“ у Пушкина жил в другом месте; но должен бы был жить он — там; вероятно, что передовые форпосты казацкие — здесь начинались; к ночи хлеснуло Каспийское море своим косым дождем; уже сквозь сон я услышал: Дербент. Появилась охрана: солдаты с винтовками; утром — Баку и чудесная, голая, грифельно-желтая местность; как бывший естественник, сразу я понял: горбины холмов вулканической силою сложены; а в эстетическом изъятии эти горбины — сработанный памятник; только художник-работник — подземные силы. Мелькнула Муганская степь; после местность оделась зеленою зеленью: вовсе не желтая зелень московских лугов, и не синяя зелень французских, кудрявейших парков, не серая зелень Германии, и не оливковый, исчерна-темный налет; эта зелень — зеленого, только зеленого цвета; на фоне — цветы розоватые: персики: розовый, нежный миндаль дымел в окна на ярко лиловых утесах; вдали — серебряные цепей (обогнули мы их)

Эти пятна пути подымаются в полузакрытых глазах моих: свет слишком ярк; его выносить трудно, глаза утрудивши над рябями формулок: скучный негит и — галдан барабанов, ломящийся в зрение; носом потянешь; и — Турция: запах турецкий знаком мне; те охровые, серо-белые и серочерные камни и сурики ярких земель, и арабо-готический свод недостроенной виллы под пятнами красных азалий, все после петитов: кричит.

И кричит, заливаясь жалобным смехом в ущельях сырющих громкий шакал: ровно в девять часов и в двенадцать часов; прокричит и — замолкнет.

Цихис-Дзири, 15 апреля.

Цихис-Дзири дает все, что нужно для отдыха; линии гор, уходящие в воздух, зовут к растворенною с землею;

в этом месте возникнет курорт; ситуация вилл, занимающих гребни холмов — превосходна; от всех четырех сторон виллы ныряют в висящие гущи, пестримые цветом, к журчащим серебристо, но сверху не видимым ущельям, заросшим лианами и рододендрами; нет и не может быть тесноты: некуда ставить постройку; вершина холма, — и с вершины: обрывины; смело с веранды води перекличку с соседом, сидящим — рукой подать; с ним из-под листьев веранды води — разговор; но попробуй изобраться к соседу; сперва опускайся к ущелью, чтоб там, повинтив по дороге минут эдак десять, остаться у входа в соседнюю дачу; отсюда придется минут эдак пять прокарабкаться; дача, которая кажется — рядом, отрезана долгой ходьбою; в ярчайших чащобах дороги — ни дач, ни строения, кажется — дичь непролазная, где лишь шакалы, не люди; покой, сырота, гущина и винты затененной дороги; не выскочит ли из расселины горца?

Вдруг, в непроходимейшем месте — и щебет, и смех: это — резвятся дети невидные; смех их погаснет; молчанье; взберись в эти чащи, покажется крыша, дымок, апельсинники, красный песочек дорожки; безлюдно, а люди — везде.

Парадокс сочетания флор: наша флора представлена полностью; сосны, и липы, и тополи; флора Италии чуть-ли не полностью — тут же: магнолии, лавр, кипарисы, апельсин, мандарин; сицилийская флора — есть тоже; Япония — тут: криптомерии, множество странных изысканных хвой; Палестина и Сирия — здесь и Ливанские кедры и лилий жезлы; в это все ворвался крик экзотик: и пальмы и кактусы; трепанный, часто саженный свой лист поднимает банан; как бурьян, через все выпирает бамбук; австралийская флора стоит эвкалиптом, драценами; американская флора, — какая еще?

Уже я не стою, раскрыв рот, пред лиловым каскадом соцветий — каскадом, скрывающим зелень, слетающим с красных, от сырости, ярко пурпуровых заплесневелых земель с сильной подмесью сурика; схватка лилового цвета и пламени почв еще третьего дня удивляла; в острейшие черные гребни осколков утесов у моря врывается пламень, пласты пестроцветны, разительны; ярко-коричневый, красный, оранжевый, охровый и серочерный фон почв, обвисающих зеленью; сами аджарцы — в коричнево-сером, а то — в черносером: в пестрейших, в теплейших носках; ржаво красные пятна аджарок, их черные буйволы — явно: они мимикрируют почву, как срубы, как щепки, сыреющие при дороге; и те, пав на сурик земли, под дождями становятся суриком; знаю: орнамент аджарских платков повторяет орнамент сложения камушков пляжа (и ночью, и днями скрежещет камнями прибор); как и всюду: культура народа по новому преобразует мотивы природы; мотив всех мотивов: рогатый аджарец идет по дороге с гортанною песней; та песня есть импровизация; что он увидит и переживет, — превращается в песню.

Легко мне под звуки: устал я от думы; и думается (а аджарцу поется) о том, что я вижу: глазные какие-то думы; из глаз выпиваю их; что я увижу, о том и подумаю; скачут через камни хрипящие хляби, взбелеясь расхлопами пены, забисерясь шипами; веером кружев по пляжу бегут; вот обратно, сливаясь струйками, катят свои круглячки; с нарастающим ржаньем сгребаются в лапы сигающей новой волны; за волною — волна; как и мысль, — без конца, без начала; в лицо — иодом пахнущий ветер; а в трех саженьях от камней под поверхностью моря дельфин; поднялась на мгновение огромная, черная морда, прошел над серебрянозеленоватою влагою черный плавник на

дуге безголового, будто бесхвостого тела, ушел; всплеск большого хвоста.

Нет его.

Так вот я: что увидишь, — о том и помыслишь; глаза проглядел; их закроешь — рябь камушков.

Каменной болезнью болею; коробочки: в них — лежат камни; не стыдно мне: профессора в Коктебеле болели болезнью моей; помню я, — как приехал солидный профессор; три дня гулял в длинных штанах на морском берегу; на четвертый же — в трусиках как-то стыдливо заползал он (на четвереньках); отыскивая в круглячках брызги „слезок“ *), да так и проползал все лето (солидное имя в науке); натурам же легким — художникам, — самой судьбой показано, бросив заботы, отползать положенный срок.

Уже складывается режим: совершенного отдыха; организация отдыха — трудное дело; бездельничать просто нельзя, а то сразу — устанешь; безделье тогда исполняет свои надлежащие функции, когда минуты разобраны, времени нет, чтоб помыслить о деле.

Безделье для нас это — нужное дело.

И мы начинаем порядок дня — сбегом: под волны; часа полтора загораем, вдыхая целящие, солоноватые воздушы; море меняется: вот — незабудковый цвет; омолочился он: вот разрезалась сплошность морская серебряной яснью; но врезались в ясь синечерные хмурины; иссине-черно-зеленое, все полосатое, море; а к вечеру выблеснется фиолетово-серый, иль розово-желтый отлив; море в нем — задымсет; и в непроницаемой хмури — свернется; нет моря, — лишь дым; будет слышно скребение тысячей громких когтей, отцарапывающих от берега, в берег бросающих — камни.

*) Прозрачные камушки.

В сиденье у моря часы летят; занят всем этим: оттенками, камушками, стадом коз, проходящих по берегу, и разговором с рогатым, таким крючконосым аджарцем с глазами ребенка, которому ты поднесешь папиросу; а выборы камушков? Вовсе не легкое дело. Тут сметка нужна, нужен глаз, чтоб расценка оттенков, отбор их был правилен: каждый прибой прибывает свой цвет; надо зренье, чтоб видеть сегодняшний стиль дара моря; его уже завтра не будет; лови момент: камушек этот вот, именно этот; ведь больше не будет таких.

Возвращаемся с берега, пересекаем гремучес пеной потока ущелье с тяжелым уловом камней, чтобы отсортировать их: до обеда; из открытых дверей — то же море: сквозь пальмы.

И — пять часов дня: пора вверх (горы ждут), иль — в ущелья, в винты колесящей дороги, являющей виды, то — справа, то — слева; и вновь подставляющей вместо прогляда отвесную стену земель с неизменным каскадом цветов; будут гребни — вон там: и метелки изогнутого кипариса — оттуда; и будут ущелья — отсюда; с невидного дна их — перенье гигантов стволов, уходящих в зеленую и непроглядную гущу.

До вечера так.

Будет вечером — невыразимо огромный Юпитер, дающий над морем свой отблеск; под листьями странной павлонии можно часами неметь в разгляденье игры звездных отблесков на распростертом просторе.

Градации разного рода безделий, — ответственно организованных, переполняет часы: день, как полная чаша в потоке живых восприятий, как сок виноградный, забродят они.

Их — бер! В этом взятии ведь — загрузка серьезнейших мыслей.

Воистину: дело не легкое править хозяйствами мыслей; хороший хозяин, — тот знает, когда надо сеять овес, когда лен; а не всякий мыслитель вполне овладел примитивною мыслью о том, что для верных посевов нужны неизбежные сроки; нужна и культура, чтобы возвращать мысли; посеет, и вырастет дрянь в голове.

Это значит: *mens sana in corpore sano!*

Цихис-Дзири. 30-го апреля.

Вот как это случилось: однажды орал напролет всю ночь этот пакостный плакса, — шакал; просто маленькая собаченка; орет же, как ... как ... бронтозавр. если этот последний орал (не силен я в палеонтологии); пес же Авдей, потрясенный явлением соперника (к „дам с“ Авдея поклонники ходят), не лаял; шакал, обнаглев, заорал под окном (он обычно скулит из ложины, среди рододендров).

Мы выскочили очень рано, — в беспрокий денек, и холодный и жаркий (бывают такие деньки, — с тушиком); на него я наткнулся, едва не свернув себе шею; „сверну“ — выражение аллегорическое; никакого „сворота“ в прямом смысле не было; все шло, как следует, но из причин вытекали вполне беспричинные следствия; день лучезарный — а мы издрожались; с коллекцией теплых предметов, спустились на пляж; на нас ринулись буйволы; пляж задушил: раскаленные скалы дышали, как печи доменные; я, разбросав свои куртки, остался прелегким; но солнце кусалось: напек головы — под утес! Но там, — пещь Даниила; мы — вверх; но в ущелье пристал проедающий тело до кости ознобик; карабкаясь к даче, мы видели, как запахнулись окрестности: в серые, в сизые, в синие мути; сквозь них пропоролось холмов голубые рога; с той поры и пошло: ни тепла, ни про-